

**В. Г. Короленко**  
**СУДНЫЙ ДЕНЬ ('ИОМ-КИПУР')<sup>1</sup>**  
**Малорусская сказка**

*«Огонь погас, а  
месяц всходит. В лесу  
пасется волколак.»*

**Шевченко**

**I**

Вот что: выйди ты, человек, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по

---

<sup>1</sup> Через десять дней после еврейского нового года, который празднуется раннею осенью, наступает у евреев праздник Иом-Кипур (очищения). Местное христианское население называет этот день «судным днем». Существует поверье, что в этот день еврейский чорт, Хапун, уносит из синагоги одного еврея. К этому поверью подали повод, вероятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной выразительности обряды, сопровождающие празднование Иом-Кипура и совершающиеся в маленьких городишках Западного края на виду у христианского населения

небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночью дорогой... А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит, и журчит, и бормочет что-то надбережным яворам... И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом?

Все может случиться. Вот с знакомым моим, ново-каменским мельником, тоже раз приключилась история... Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу, только уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хоть слышал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю: было это на самом деле или не было...

Ну, да уж было или не было, а рассказывать надо, как было.

Раз вечером, после вечерней службы в Новой-Каменке, — а мельница от села верстах этак в полуторах, не более, — мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. «Вот

как чешет, вражий сын, — говорили добрые люди с великим респектом <sup>2</sup>, — хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Так сот и он читает: речь как кованое колесо по камню гремит, а слова никак не ухватишь».

А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для господ бога; языком как иной здоровенный парубок цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли.

После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу.

Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах (завалинках), а молодые под тынами, в

---

<sup>2</sup> Почтением, уважением (от франц.- respect)

густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно, и только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз — неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что делается порой в густой тени под вишнями вот в такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самую серединой улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили:

— Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?

Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу:

— Ага, загостился-таки немного! — и шел себе дальше прегордою поступью.

А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот, — мельник все-таки останавливался и говорил сам:

— А, здоровеньки были! Тут вы? Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько. А я ждать не стану, вот что!

И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-пречерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя:

«Вот какая черная тень, даже удивительно!.. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи...»

Тут поровнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бахорей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жида — это уж всему свету известно — строго наблюдают свою веру: ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут: грех! Все это за них и делал наймит Харько, из отставных солдат, а Янкель, или Янкелиха, а то и бахори только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку. «Хитрый народ, ой и хитрый

же! — подумал про себя мельник. — Умеют и богу своему угодить и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать, — где нашим!»

Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утопанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю, — и спросил:

— Янкель! Эй, Янкель! Дома ты, или, может, тебя нету?

— Нету, не видите, что ли? — отвечал наймит из-за прилавка.

— А где?

— Где — в городе, вот где, — отвечал наймит. — Вы разве не знаете, какой у них день?

— Какой?

— Иом-Кипур!

«Вот объяснил, так объяснил!» — подумал про себя мельник. А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый. Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником. На клиресе читал, пожалуй, не хуже мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в «Часослове» еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в «Апостоле» никаким способом. Зато в чем другом ни за что, бывало, не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз: «не

знаю», а наймит тотчас: «а я так знаю». Неприятный человек... Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапкою ногтями заскреб, а он радуется.

— Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день?

— А что мне и знать всякий жидовский праздник! — ответил мельник с досадой. — Разве я у них служу или что?

— Всякий? То-то вот и есть, что не всякий! Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу: такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает.

— Ну, вы скажете!

— Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали.

— А?

Мельник только свистнул, — как же это он в самом деле не догадался? — и заглянул в окно жидовской хаты. Там, на полу, были разостланы сено и трава, в двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки-мока'нки и слышалось жужжание как будто от нескольких здоровенных, в рост человека, пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем, вторая жена и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слова схватить было невозможно. Однакоже было что-то

такое в этом молении удивительное: казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем? — кто их знает! Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах...

У мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе, — и жутко, и жалко. Он переглянулся с наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал:

— Молятся!.. Так, говоришь, Янкель поехал в город?

— Поехал.

— И что ему за охота? Ну, как его-то как раз Хапун и цапнет?

— То-то и оно! — ответил наймит. — Кабы так на меня. то даром, что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль, — а ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал. Сидел бы себе в хате, — небось, из хаты не выхватит.

— А почему? Если уж кого схватить, то схватит и в хате. Почему в хате нельзя?

— Почему?.. Если вам нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?

— Да никуда, как в лавку.

— А почему в лавку?

— Потому что в лавке шапок видимо-невидимо.



— Вот то-то и оно. Посмотрели бы вы теперь в синагоге: там тоже жидов видимо-невидимо! Толкутся, плачут, кричат так, что по всему городу слышно, от заставы и до заставы. А где толкун мошкеры толчется, туда, известно, и птица летит. Дурак бы был и Хапун, если бы стал вместо того по лесам да по селам рыскать и высматривать. Ему только один день в год и дается, а он бы его так весь и пролетал понапрасну. Еще в которой деревне есть жид, а в которой, может, и не найдется.

— Ну, таких мало.

— Хоть мало, а все-таки... притом, из многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали... Мельник подумал, что опять его наймит зашиб хитрыми словами, и ему стало опять неприятно. А из окон все неслись жужжание, и плач, и причитание жидов.

— Да это еще правда ли? — заговорил мельник, которому захотелось подразнить наймита. — Может, так люди брешут! Один дурень сбрехнет, а другой и поверит.

Наймиту эти слова не понравились.

— Разве это я сам выдумал, — сказал он, — или мой отец, или сват... Когда это известно всему крещеному народу.

— А вы ж сами это видели? — задорно спросил мельник.

Когда он входил в азарт, то говаривал иногда, что не хочет знать самого чорта, пока его ему не покажут вот так, как на ладони. А теперь он как раз был в самом азарте.

— А вы ж, — говорит, — сами видели? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вот что!

Наймит спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой — волк его заешь! — и он человек был, чтобы совсем сдаться.

— Лгать не стану, — говорит, — сам никогда не видал. Ну, а вы, господин мельник, когда-нибудь Киев видели?

— Нет, не видел, тоже лгать не буду.

— А он-таки есть, хоть вы его и не видали. Тут уж мельник на такое ясное слово совсем вылупил глаза.

«Вот что правда, то правда, — подумал он, — таки Киев есть, хоть я его не видал... Видно, надо верить, когда добрые люди говорят». — Ну, хорошо... От кого ж вы это слышали?

— Ба! от кого? А вы от кого про Киев слышали?

— Тю-тю! Ну, и язык у вас!.. Чистая бритва, чтоб ему отсохнуть!

— Нечего моему языку отсыхать... Если все говорят, то, значит, правда. Не была бы правда, то

все не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны...

— Тьфу! Да остановись ты хоть на одну минуту! Я ж уже и сам вижу, что не в тот переулок завернул... А только я б хотел знать, откуда она взялась, такая людская намолвка...

— А оттуда и взялась, что это каждый год бывает. Что бывает, о том и люди говорят, а чего не бывает, о том и говорить не стоит...

— А, вот человек какой! Скажи мне, наконец, что ж такое бывает, вот что!

— Эге-ге, так, видно, вы и этого не знаете, что бывает в судный день?..

— Знал, то б и не спрашивал. Слышу давно, — люди болтают, вот как и ты: Хапун, Хапун, а в какой разум это говорится, и не знаю.

— Так бы сразу и говорили, что не знаете... Если хо-чете знать, так я и расскажу, потому что я побывал-таки на свете, не то что вы. Я и в городе живал не по одному году, и у жидов не первый раз служу.

— А не грех тебе? — усомнился мельник.

— Другому кому грех, а солдату все можно! Нам такая и бумага выдается.

— Разве что бумага...

После этого уже солдат рассказал мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, как он в этот день ежегодно хватает по одному жиду.

Хапун, надо и вам сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовский чорт. Он, скажем, во всем остальном похож и на нашего чорта, такой же черный и с такими же рогами, и крылья у него, как у здорового нетопыря; только носит пейсы да ермолку и силу имеет над одними жидами. Повстречайся ему наш брат, христианин, хоть о самую полночь, где-нибудь в пустыре или хоть над самым омутом, он только убежит, как пугливая собака. А над жидами дается ему воля: каждый год выбирает себе по одному и уносит...

Для этого-то вот выбора и назначается иом-кипур, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачут, рвут на себе одежду и даже головы зачем-то обсыпают золой из печки. Перед вечером все моются в речке или на ставах <sup>3</sup>, а как зайдет солнце, идут бедняги в свою школу <sup>4</sup>, и уж какой оттуда крик слышится, так и не приведи бог: все орут в голос, а глаза от страха закрывают... А уже в это время, как только небо погаснет и станет на нем вечерняя звезда. Хапун вылетает из своего места и вьется над школой, и в окна бьет крылом, и

---

<sup>3</sup> Став-пруд

<sup>4</sup> Простой народ в Юго-западном крае называет синагоги школами

высматривает себе добычу. Но вот когда уже настоящий страх нападает на жидов, так это в самую полночь. Они нарочно зажигают все свечи, чтобы не было так жутко, падают все на пол и начинают кричать, как будто их кто режет. И когда они так лежат и надрываются, Хапун, как большой ворон, влетает в горницу; все слышат, как от его крыльев холод идет по сердцам, а тот, которого он высмотрел ранее, чувствует, как в его спину впиваются чортовы когти. А! рассказывать об этом и то даже мороз по-за шкурой пройдет, а каково-то бедному жиду!.. Само собою, — кричит во все горло. Ну, да кто тут услышит, когда и все тоже галдят, как сумасшедшие? А может, кто из соседей и слышит, так что ж тут делать, — рад, что не ему выпала злая доля!..

Наймит Харько сам слышал не один раз, как после того в местечке разносился звук трубы, да такой звонкий, жалобный и протяжный... Это служка из школы на прощание трубит вдогонку своему бедному брату, между тем как другие надевают в передней «патынки» (потому что в школу входят в одних чулках) и тихо расходятся по домам.

Видел также Харько, как они останавливались кучками против месяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя в ночное небо... А в это время, когда уже все до одного разойдутся, на

полу в передней комнате сиротливо стоит себе пара «патынков» и ждет своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что в этот час над полями и лесами, над горами, ярами и долинами Хапун тащит хозяина патынков по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь от христианского глаза. Рад, проклятый, когда ночь выпадет облачная да темная. А ежели тихая да ясная, как вот сегодня, что месяц светит изо всех сил, то, пожалуй, напрасно чертяка и труды принимал...

— А почему? — спросил мельник.

— А потому, что вот видите вы: стоит любому, даже и не хитрому, крещеному человеку, хоть бы и вам, например, крикнуть чертяке: «Кинь! Это мое!» — он тотчас же и выпустит жида. Затрепыхает крылами, закричит жалобно, как подстреленный шуляк <sup>5</sup>, и полетит себе дальше, оставшись на весь год без поживы. А жид упадет на землю. Хорошо, если не высоко падать или угодит в болото, на мягкое место. А то все равно, пропадет без всякой пользы... Ни себе, ни чорту.

— Вот так штука! — сказал мельник в раздумьи и со страхом поглядел на небо, с которого месяц действительно светил изо всей мочи. Небо

---

<sup>5</sup> Коршун

было чисто, и только между луною и лесом, что чернелся вдали за речкой, проворно летело небольшое облачко, как темная пушинка. Облако, как облако, но вот что показалось мельнику немного странно: кажись, и ветру нет, и лист на кустах стоит — не шелохнется, как заколдованный, а облако летит, как птица и прямо к городу.

— А поглядите-ка, что я вам покажу, — сказал мельник наймиту.

Тот вышел из шинка и, опершись спиной о косяк, сказал хладнокровно:

— Ну, так что ж? Нашли, что показывать: облак, так и облак! Бог с ним...

— Да вы поглядите-ка еще, — ветер есть?

— Та-та-та-а... Вот оно что! — догадался наймит. — Прямо в город мандрует...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху. А из окон попрежнему несло жужжание, виднелись желтые вытянутые лица, шапки на затылке, закрытые глаза, неподвижные губы... Жиденята плакали, надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри их плачет и молит о чем-то давно утраченном и наполовину уже позабытом...

— А! пора и домой, — очнулся мельник. — А я было хотел гроши Янкелю отдать...

— Можно. Я принимаю за них, — сказал на это наймит, глядя в сторону.

Но мельник притворился, что не слышал этих слов. Деньги были не такие маленькие чтобы вот так, просто, отдать какому-нибудь пройди-свету, отставному солдату.

— Прощайте-ка, — сказал поэтому мельник.

— Прощайте и вы! А деньги я-таки принял бы.

— Не беспокойте себя: отдам и самому.

— Это как себе хотите. А взять и я взял бы, беспокойство небольшое. Ну, пора уж и шинок запирать. Видно, кроме вас никакая собака уже не завернет сегодня.

Наймит опять почесал себе о косяк спину, посвистал как-то не совсем приятно вслед мельнику и стал запирать двери, на которых были намалеваны белою краской кварта, рюмка и жестяной крючок (шкалик). А мельник спустился с пригорочка и пошел вдоль улицы, в своей белой свитке, а за ним опять побежала по земле черная-пречерная тень.

Но теперь мельник раздумывал уже не о своей тени, а совсем-таки о другом...

## II

Мельник прошел не более десяти сажень, как в садочке по-за тыном что-то зашуршало и зашумело, будто вспорхнули две большие птицы. Но это были



не птицы, а какой-то парубок с девкой, испуганные тем, что мельник сразу вышел из темноты. Впрочем, парубок, видно, был не из страшливых: отойдя еще подальше в тень, так что едва белели под вишнями две фигуры, он крепкою рукой придержал всполохнувшуюся девушку и опять повел тихие речи. А пройдя еще немного, мельник услышал что-то такое, что даже остановился от большой досады...

— А ты, — не знаю, как тебя, — подождал бы хоть целоваться, — сказал он. А то чмокаешь на все село, — сказал он, подойдя к самому тыну.

— А тебе, собачий сын, надо в чужие двери нос совать? — ответил парубок из тени. — Так вот погоди, я и тебя поцелую дрючком по ногам. Будешь вперед знать, как людям делать помеху.

— Ну-ну! — сказал мельник, отходя. — Подумаешь, важную работу делает... Да и подлый же какой-то парубок, как чмокает, даже человеку стало как будто завидно. Распустился народ!

Он постоял, подумал, почесал в голове и потом, привернувши к сторонке, занес ногу через тын и пошел огородом к вдовиной избушке, что стояла немного поодаль, край села, под высокою тополей... Хатка была малюсенькая да еще сгорбилась и похилилась к земле. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было и разглядеть, будь ночь сколько-нибудь потемнее. Но

теперь хатка вся так и горела от месячного света, солома на ней казалась золотая, а стена серебряная, и оконце чернело на стене, как прищуренный глаз. Огня в окне не было. Должно быть, у старухи с дочкой нечем было вечерять, незачем было и светить. Мельник постоял, потом тихонько стукнул два раза в оконце и отошел к сторонке.

Недолго еще и постоял, как две полные девичьи руки крепко обвили его шею, а меж усов так даже загорелось что-то, как приникли к Мельниковым устам горячие девичьи губы. Э, что тут рассказывать! Если вас кто так целовал, то вы и сами знаете, а если никогда с вами ничего такого не было, то не стоит вам и говорить.

— Филиппко мой, милый, желанный! — говорила, ласкаясь, девушка, — пришел: таки... А я уж ждала-заждалась, думала, иссохну без тебя, как та былинка без воды...

«Э, не иссохла-таки, слава тебе, господи! — подумал про себя мельник, прижимая рукой не очень-то худощавый стан девушки. — Слава богу, еще ничего».

— Когда же рушники готовить будем? — заговорила девушка, все еще держа руки на плечах Филиппа и обдавая его горячим взглядом черных очей. — Ведь уж скоро филипповки.

Эта речь прилась мельнику не так по вкусу, как девичьи поцелуи. «Видишь ты, куда гнет, —

подумал он про себя. — Эх, Филипп, Филипп, задаст она тебе теперь потасовку». Но, все-таки, набравшись храбрости и отведя свои глаза в сторону, он промолвил:

— Э, какая ты, Галя, ласая <sup>б</sup>. Сейчас тебе и рушники. Как же это можно, когда я теперь сам мельник и скоро, может, стану первый богатырь (богач) на селе, а ты — бедная вдовина дочка?

Девку шатнуло от того слова, будто ее ужалила змея. Она отскочила от Филиппа и схватилась рукою за сердце.

— А я думала... ох, бедная ж моя голова!.. Так чего ж это ты, подлый человек, стучал в оконце?

— Эге! — ответил мельник, — чего стучал... А что же мне и не стучать, если твоя мать должна мне деньги? А ты выскочила да прямо целоваться. Что ж мне... Я тоже умею целоваться не хуже людей.

И он опять протянул к ней руку, но только что его рука коснулась девичьего стана, как стан этот вздрогнул, будто девку ужалила гадюка.

— Геть! — крикнула она так сердито, что мельник попятился назад. — Я тебе не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вот

---

<sup>б</sup> Лакомая, охочая до чего-нибудь (укр.)

подойди еще, я тебя такогрею, что ты после того забудешь ласовать на три года.

Мельник растерялся.

— Вот какая гордячка! А что я, прости господи, жид, что ли, тебе дался, что ты вот так паскудно лаешься?

— А то не жид, что ли? За полтину уже рубль нарастил, да еще тебе мало: ко мне полез за процентами. Геть! — говорю тебе, — постылый!

— Ну, девка! — сказал мельник, опасливо закрывая лицо ладонью, как бы в самом деле не засветила кулаком. — Я вижу, с тобой умному человеку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и без того вышла из хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чем разговор с дочкой. Он подбоченился, и его черная тень на стене так задрала голову, что мельник и сам уже подумал, как это у нее не свалится шапка.

— А знаешь ты, старая, зачем я это пришел? — говорит мельник старухе.

— Ох, как мне, бедной, не знать! Видно, ты пришел за моими деньгами...

— Хе! не за твоими, старая, — засмеялся мельник, — а за своими собственными. Я ж не разбойник какой, чтобы по ночам за чужими деньгами в чужой дом приходить.